

Лидия Чуковская

Как создавалась книга М. П. Бронштейна «Солнечное вещество»

Солнечное вещество

1

История гелия сплелась с историей нашей жизни — Митиной, моей. Работа над книгой сблизила нас. Собственно, она же нас и поженила. Брака нашего мы ни от кого не скрывали, но некоторое время вынуждены были жить врозь, на разных квартирах — он у себя в Петроградской, на улице Скороходова, 22, а я, вместе с Идой и Люшей, на Литейном, 9. Совместный литературный труд был для нас чем-то вроде свадебного путешествия. Все серьезнее и глубже узнавали мы друг друга.

Редактировал книгу Маршак. Я ассистентка. Все трое влюблены. Митя и я друг в друга, Маршак в Бронштейна. Редактировать что-либо, не влюбившись в рукопись и в автора, не поверив в его великое будущее, Маршак вообще не умел. В одних случаях от общения с Маршаком рождались прекрасные книги. В работе с ним совершенствовали свой вкус и свой слог начинающие литераторы и шли далее, не нуждаясь уже в маршаковской опеке; другие союзы производили на свет всего лишь одну-единственную, совместно сработанную книжку, а самостоятельно автор не способен был сделать ни шагу; третьи оканчивались плачевно: литературной неудачей, а вследя неудачи лично злобой.

О своем литературном романе с Бронштейном Маршак вспоминал с гордостью до конца своих дней.

<…>

При первом же знакомстве Самуил Яковлевич начал читать Мите Пушкина, Блейка и Бернса и выслушивать Митины соображения о переводах Шекспира. Значит — влюбился.

Однако нельзя сказать, чтобы работа, начатая при столь благоприятных предзнаменованиях, с самого начала пошла успешно.

Напротив.

Она была работой счастливого потому, что увлекла автора, редактора и меня, но поначалу ни Митины познания, ни наша увлеченность ни к чему не вели. Вариантов, отвергнутых Маршаком, были десятки, неудачи длились месяцы.

Если бы не упорство Маршака, Митя наверное сбросил свои старания. При том, что и сам он отличался завидным упорством.

Зачем, собственно, было ему учиться писать для детей? (Даже с той приманкой, что хорошая научная книга для подростков неизбежно превращается в общенародную?) Он занят был сложнейшими проблемами теоретической физики, да и преподавать студентам умел. Высоко ценили в природоведческих популярных журналах и Бронштейна-«популяризатора». В журнале «Человек и природа» или «Социалистическая реконструкция и наука» статьи его о последних достижениях современной физики или о ее первых шагах публиковались чуть не в каждом номере — случалось, и на самом почетном месте: номер журнала открывался статьей Бронштейна. Его популярные статьи пользовались успехом среди редакторов, рецензентов, среди коллег-ученых и, как он надеялся, среди читателей. Параллельно с чисто научными и научно-популярными статьями написал он и две научно-популярные книги: «Атомы, электроны, ядра» и «Странные вещества». Предстояла в ближайшее время защита докторской диссертации. Правда, защита в этом случае была всего лишь формальностью, но и подготовка к пустой формальности отнимает силы и время. Зачем было ему обучать себя какому-то художеству для двенадцатилетних, если занят он был разработкой теории квантования гравитационных волн, признан всеми как серьезный ученый и прекрасный лектор?

Но Маршак умел заманивать людей и увлекать их. Очередная неудача разжигала в Мите желание попробовать еще и еще раз. Он к неудачам не привык, а воля у него была сильная.

Любое свое неумение в любой — даже далекой, казалась бы, области, он во то что бы то ни стало старался преодолеть. Не знаешь — узнай (Митя был неразлучен со словарями и энциклопедиями на всех европейских языках), не умеешь — научись. Это касалось не только мира литературы или науки. Так, например, настал день, когда Митя осознал недостаток своего физического воспитания — ни в детстве, ни в юности не научили его ни гребле, ни лыжам, ни конькам. Осознал и примириться не захотел. Под свое физическое развитие он пошел строго научную базу: записался в яхт-клуб, где, прежде чем усадить клиента в лодку, учили гребти в каком-то особом ящике — если не ошибаюсь, на суше…<…> Записался он и в клуб велосипедистов, где тоже научно овладевал велосипедом.<…> Развивая мускулатуру, играл в теннис. Спуску себе он не давал никогда и ни в чем. Убедившись в своем неумении художественно писать для детей, мог ли он отступить?

<…>

Безуспешные попытки написать детскую книгу о спектральном анализе длились и длились.

Как я помню бедные Митины листки! Вырваны из блокнота; наверху — зубчики; а буквы и строки бегут мелко и скупо, от края до края, точно опасаются, что им не хватит места. Каждый раз, переписав очередной вариант первой главы, Митя уверяет меня, что лучше, нагляднее, понятнее написать невымыслимо. На этот раз Самуил Яковлевич уж непременно останется доволен. Я согласна с ним. Веселыми ногами идем в Дом книги, на Невский, минуем вращающуюся стеклянную дверь и надолго запираемся с Самуилом Яковлевичем в маленькой угловой комнатушке с балконом. Балкон на углу Невского и канала Грибоедова. Клеенчатый казенный диван, канцелярский стол, весь в чернильных пятнах. Вещам и людям в комнатушке тесно. Самуил Яковлевич, Митя и я еле протискиваемся между столом и диваном.

Зато запирается коматка изнутри на замок, тут можно надежно укрыться от редакционного шума.

Уличный — трамвайный — не помеха.

Митя читает, Маршака не велено звать к телефону. Маршак слушает, опустив на руку большую, круглую, седующую голову. Слушанье — влущиванье — для него труд, и труд напряженный. Существует истасканное, банальное выражение: «он весь обратился в слух». Банально; а если отнести к Маршаку — иначе не скажешь. Маршак в самом деле слушает ушами, лбом, подбородком, всеми порами, сердцем. И глазами. Я убеждена: слушая Митин голос, он *видит* услышанное набранным, напечатанным и, уж конечно, напрягает все силы, чтобы увидеть не один лишь графическое начертания слов, но и то, о чем речь идет: пробирки, колбы, светящиеся линии. От окружающего он отключен совершенно. Сейчас он не он, а тот двенадцатилетний школьник, который будет эту книгу читать. Он сейчас весь в напряжении: нелегко бы самим собой, весьма искусственным сократянтисленным литератором, и в то же время нетронутым цивилизацией подростком, нелегко слышать и видеть одновременно.

В такие минуты он не замечает ни меня, ни Мити, не слышит не уличного шума, ни смутного гула разговоров в соседней комнате.

Он слышит и видит читаемое — нет Невского, нет канала Грибоедова, нет по соседству телефонных звонков…

Впрочем, чаще встречались мы не в редакции, а у Самуила Яковлевича дома, на углу Литейного и улицы Пестеля (Пантелеймоновской) в большом, уставленном книгами кабинете окнами на Литейный. Дома Самуил Яковлевич сидит не за казенным, грязноватым, пустым, неуклюжим столом, а за обеденным, красивым, письменным. Мы с Митей в мягких, радужных креслах. Стол Самуила Яковлевича знаком мне во всех подробностях не менее чем мой: круглая плоская чернильница, квадратная металлическая пепельница с крышкой, пресс-папье; томы Дала; поряженный, со сломанным замочком, набитый до отказа портфель. Где что на столе и на полках, и в портфеле, и в ящиках, знаю я не хуже хозяйки: он близорук и каждую минуту просит найти и подать то одно, то другое.

Стоп, стулья и оба полководника и даже диван завалены рукописями: Маршак требовал от себя и от нас, чтобы не один лишь «договорные рукописи», но и «самотек» прочитан был им или нами: ах, не упустить бы новоявленного Ломоносова, Чехова или Толстого!.. Чужие рецензенты упустят, мы же, просветившие ученики его, заметим, выловим, покажем друг другу, обрадуемся.

Слушает Самуил Яковлевич у себя дома так же внимательно и страстно, как там, в редакции. Кашель, дым. Папироса зажигается одна о другую. Одышка.

…Митя кончил. Сложил свои листки. Самуил Яковлевич глядит на него бережно, ласково, — я-то уж понимаю: значит, опять не то.

— Дорогой мой… — приступает к операции Маршак.

Тут я хватаюсь за карандаш. Мне необходимо понять, в чем же, собственно, опять неудача?

2

Да, опять неудача. А мне только что казалось, что все тут последовательно, логично, толково.

Так оно и было: последовательно, со знанием дела, логично, толково, без беллетристических потуг, с доверием к науке и к читателю.

Но всего лишь толково. Всего лишь последовательно. Всего лишь логично.

Читатель, уже прежде заинтересованный в истории открытия новых газов, таким текстом был бы вполне удовлетворен. Он нашел бы ответ на давно уже занимавшие его вопросы. Читатель же, никогда не слышавший о каких-то там особенных газах и спектрах, не перевернул бы и одной страницы. Его надобно было увлечь, заарканить с первой строки, а Митя преподанил ему лекцию — весьма полезную для человека заинтересованного, но человека равнодушного оставляющую равнодушным.

Черновики первой детской книги Бронштейна не сохранились. Жаль. По ним можно было бы проследить, как развивался и рос в ученом, в открывателе нового, в ученом, авторе популярных статей, — художник. Как менялось его отношение к работе над словом. («Работа над словом ужасная», — сказал Лев Толстой, когда предпринял попытку писать для подростков.) Как изменился словарь, из узенького, специфичски профессионального, изобилующего «измами», звуковой какофонией, превращался он в общерусский: общерусский располагает несчерпываемым словесным запасом. Как проникали в книгу интонации живой, разговорной речи: то удивленной, то восхищающейся, то опечаленной. Как мысль начинала разветвляться, поднимаясь не одной лишь логике, но и воображению: не лекция, а драма. Как мысль накалялась эмоциями. Как, сохраняя хронологию событий, повествование обрело сюжет и подчинялось повелителю всякого художества — ритму. Как книга строго научная приобретала содержание этическое. Книга о спектральном анализе оборачивалась книгой о великом единении ученых. О единении людей, отделенных друг от друга пространством и временем и, случается, даже не знающих о существовании друг друга — но связанных один с другим: каждый — звено незримой цепи.

Черновики Митиной книги, повторяю, не сохранились. Но чтобы показать, *откуда* он шел к первой своей книжке для детей и какой проделал путь, приведу отрывок из его статьи для взрослых *до* встречи с Маршаком. Из статьи научно-популярной.

Вот образец:

«В своем докладе на конференции Ф. Перрен упомянул о гипотезе, предложенной его отцом знаменитым французским физиком Жаном Перреном. Согласно этой гипотезе основными элементарными частицами ядра *являются* (курсив мой. — *Л. К.*) не протоны и электроны, а нейтроны и позитроны, и сам протон по этой гипотезе, тоже *является* сложной частицей, а именно комбинацией из нейтрона и позитрона. Преимуществом этой гипотезы *является* то, что нет никаких затруднений с механическими и магнитными моментами ядер, так как моменты нейтрона и позитрона еще не были измерены, а потому им можно приписать такие значения моментов, чтобы объяснить экспериментальные величины моментов ядер. Перрен предложил поэтому считать, что позитрон имеет механический момент нуль и подчиняется статистике Бозе».

Значение этого пассажа для неподготовленного читателя, для читателя-профана — тоже нуль.

Тот, к кому обращался М. П. Бронштейн теперь, только что прочел «Всадника без головы» Майн Рида, «Морские истории» Житкова или «Трех мушкетеров» Дюма. Ни ему самому, ни его близким еще неизвестно: гуманитарий он в будущем или математик? Неискушенный подросток берет в руки книгу об открытии гелия — а что это за гелий? И какое мне, собственно, дело, как его там открывали? Мне бы *интересную книжечку!*

…В книгу для детей стоит вкладывать любой труд. Хорошо выполненная детская книга, книга не от ремесла, а от искусства, всегда интересна не только ребенку, но и взрослому. Маршак называл детскую книгу сестрой книги общенародной. И был прав: его же строка «рассеянный с улицы Бассейной» ушла в толщу народа, сделалась народной поговоркой. Так же как «если могу — помогу» Корнея Чуковского, или «Ох, нелегкая эта работа — / Из болота тащить бегемота!». Когда первая детская книжка Бронштейна вышла в свет, с увеличением прочли дети, а за ними взрослые. Читают те и другие и в наши дни.

Совершать открытия в науке — трудно. В литературе — тоже.

В своих научно-популярных статьях, что греха таить, Митя не чуждался оборотов, изобилующих отлагальными существительными, не чуждался протокольного, бюрократического стиля.

<…>

Не сразу, далеко не сразу вынырнул Митя из-под всех безобразных несообразностей канцелярского стиля на простор складной и ладной живой русской речи. Не сразу избавился он от рокового предрассудка: если сказать «люди в специальной лодке опустили приборы под воду» — это будет ненаучно, а вот если «совершили опускание прибора под воду» —! тогда научность неоспорима.

<…>

Толстой утверждал, что нет такой сложной мысли, которую не мог бы объяснить образованный человек необразованному на общепринятом языке, если объясняющий действительно понимает предмет. Митя свой предмет понимал. От того и оказался в конце концов победителем. Ему следовало только отучить себя писать для одних лишь специфически образованных, принимаа канцелярский язык за научный. Обернуться к существам первозданным: к детям. К людям-неучам, у кого и самому есть чему поучиться: например, воображению, способности конкретизировать отвлеченное, мыслить образами.

Толстой сформулировал задачу на удивление точно.

— Я решил так, — сказал мне Митя после третьего или четвертого нашего похода к Маршаку, — если и на этот раз Самуил Яковлевич расхвалит меня, превознесет до небес, восхитится моими несуществующими дарованиями и моей любовью к Блейку и Бернсу, но опять предложит мою первую главу написать заново — я попробую еще один раз, один только раз, понимаешь? и basta! Ты, Лидочка, пожалуйста, не сердись и не огорчайся. Ты сделала все, что могла. Ты отучила меня от бюрократических отлагальных существительных, от нагромождения «каторыхи» и «является», от бесконечных дееспричастий. Ну и хорошо. Но писать для двенадцатилетних — это, видимо, выше моих сил. Пожалуйста, не огорчайся. У меня докторская на носу.

Я не сердилась, но огорчалась очень. И корила себя. Митя с такою охотой, с такой жадностью готов был одолевая любое свое неумение — и вот! До того мы довели его своим редактированием, что отбили охоту писать! Сколько он истратил уже времени и труда на эту несчастную книжку! Втянула-то его в это безнадёжное предприятие — я. Как же мне было не огорчаться?

<…>

3

— Да, Лидочка, я бастую, — повторил Митя, когда мы в очередной раз подходили к маршаковским дверям. — Если Самуил Яковлевич заставит писать заново — я честно сделаю еще одну попытку. Одну — но не более. Условились?

Я кивнула. Меня мучила совесть.

Мы вошли в кабинет. Сизый дым висел от пола до потолка, окурки дымались из глубины пепельницы, безжалостно приподнимая крышку. По-видимому, предыдущий посетитель курил не хуже хозяйна. Самуил Яковлевич поздоровался с нами, и в особенности с Митей, весьма сердечно. <…> …Митя опустился в гостеприимное кресло и начал читать. Маршак — слушал. Он шумно дышал, курил, кашлял, залдыхался от дыма, зажигал одну папиросу о другую, а окурки, вместо пепельницы, засовывал в чернильницу, ничего этого не замечая. Он был погружен в слушанье глубоко, как погружаются в сон. <…>

Обычно Самуил Яковлевич не прерывал ни свой слушающий сон, ни чужое чтение. Разговоры начинались обычно только тогда, когда кончались листки. А тут вдруг; положив Мите на колено свою маленькую, короткопалую, но энергичную и сильную руку, Самуил Яковлевич перебил чтение.

— Что это вы только что произнесли? Повторите, пожалуйста.

Митя удивился и перечел конец странички. Речь здесь шла о весе разных газов — сколько весят неон, аргон, гелий. Оканчивалась страница скобками: («Гелий, — объяснял Митя в скобках, — был назван в честь Солнца: ведь по-гречески „Гелиос“ значит Солнце, а гелий был найден учеными сначала на Солнце и только потом на Земле»).

— То есть как это: сначала на Солнце и только потом на Земле? — Маршак ударил Митю по колену. — Ведь не могли же ученые слетать на Солнце? Что-то не понимаю я ничего в ваших скобках! — повторял Маршак и тряс Митю за колено. — Ничего не понимаю.

Митя терпеливо объяснял: речь идет о том, как ученые открывали один за другим «ленивые», инертные газы. Среди них и гелий. В скобках дано разъяснение: гелий, в отличие от других, найден был сначала на Солнце, а потом на Земле. Потому и назван в честь Солнца.

— И об этом событии вы сообщаете в скобках! Раньше на Солнце, а потом на Земле. Да чего стоят все ваши подробности — какие-то там горелки, и пробирки, и опыты! и биографии ученых! если вы сами не знаете, о чем пишете?

— Я? Я не знаю? — взвился Митя. — Я пишу книгу о спектральном анализе. Вы меня просили написать о самом процессе исследования. Вот я и пишу популярно и подробно.

— Отложите на минуту ваши листки. Забудьте на минуту о спектральном анализе. Расскажите мне, как открыли гелий. Один только гелий, — попросил Маршак. — Расскажите нам, невеждам, — ну, вот, мне, Лиде.

Митя, пожалв плечами, принялся объяснять. И чуть только перешел он на устную речь, как между ним, рассказывающим, и нами, слушающими, возникла живая связь. От досады и волнения Митя запинаясь более обычного и говорил быстрее, чем обычно. Маршак то и дело перебивал его вопросами — и Митя откровенно хватался за голову: «Как? вы и об этом не слыхивали?» — и с раздраженным недоумением подыскивал слова, чтобы объяснить то, что минуту назад представлялось ему общезвестным.

— Слышу по голосу, — теперь вы напишете, — сказал Самуил Яковлевич. — Голос живой, не монотонный, не лекционный. Сердитый голос. Возмущаетесь? Ветревоженный голос. Спустились наконец с профессорской кафедры к нам, неучам, на грешную землю?.. Вы заметили, Лидя, что случилось сейчас? Все вещества, да и спектральный анализ, из заставших значков, из терминов (а термин — ведь это слово, из которого изъята жизнь) все превратились в персонажей драмы, в живые действующие лица. Читатель будет следить за судьбою каждого из них с не меньшим интересом, чем за деятельностью самих ученых. Горелка, трубочка, неон, аргон, клевет — все ожило… Подумайте только: речь идет о приборах, позволивших ученым, не сходя с места, обнаружить новое вещество на Солнце! А потом оказалось, что оно вовсе не особое, оно и на Земле водится! Да удивитесь же! Не риторически, конечно: «Ах, могуч человеческий разум!» — а искренне, от души. Да ведь об этом поэму писать можно! А вы сообщаете мелком, в скобках! Все остальное можно рассказать как бы и в скобках. Остальное — это переулки, влияющиеся в центральную улицу. Гелий — хребет книги, путеводительная нить, центр! Если для вас сначала на Солнце, потом на Земле» мелком, то и для читателя пустяк, мелочишка! Если вы сами не удивляетесь, чему же станет удивляться читатель!

Когда мы уходили, Самуил Яковлевич вышел вместе с нами на лестницу (в шлепанцах и подтяжках) и, прощаясь, сказал:

— Так ваша книга и будет называться: «Солнечное вещество»… По имени главного героя. Ну как «Евгений Онегин», или «Муму», или «Обломов»… Ваш герой — гелий, сквозь все перипетии поисков гелия станет ясен и спектральный анализ. Особенно важно рассказать, как люди сбивались с пути, шли по ложному следу. Это научит читателя самостоятельно думать. А сверхзадача такая: одно открытие служит другому, даже если один ученый и не подозревает об открытии другого.

4

С этого дня Митина работа пошла иначе. Самуил Яковлевич словно живой водой sprыснул разрозненные куски: теперь они соединились естественно, органически. Судьба героя повелевала повествованием. Книга не шла — летела.

Работали Митя и я вместе. Он автор, я редактор. Моя редакторская роль в этом случае оказалась весьма своеобразной. Я была именно тем идеальным читателем, над которым ставился опыт: тем круглым, полным невеждой, которому адресована книга. Чуть только повествование теряло конкретность или Митя опускал в цели событий или рассуждений звено, казавшееся ему подразумеваемым, — я неизменно переставала понимать. Чуть только рассказ утрачивал образность, мне делалось скучно. Чуть только логический вывод из рассуждения не приводил, вместе с заново установленным фактом, к эмоциии, не вызывая ни тревоги, ни огорчения, ни новой надежды — вывод сам по себе, а чувство само по себе, — я говорила Мите, что он сбился с дороги. Ведь сведения, голые сведения читатель может и в энциклопедии получить. Нашему же читателю надо испытать — вместе с исследователями — горечь неудачи, радость победы.

Митя ежедневно читал мне новые и новые главы. Я перебивала его, чуть только теряла сюжетную нить. Дивясь моему непониманию, Митя сердился и начинал объяснять мне, что происходит на странице — в лаборатории Рэмзея или Резерфорда — объяснять «по складам», как трехлетней. Я снова не понимала, он в сердцах объяснял снова.

— Ты притворяешься… Тут нечего не понимать… Ну, вот, представь себе…

«Представлять себе» (воображать) я умела. Митя подыскивал примеры. Во мне брезжило понимание, будто какие-то черты реального предмета просвечивали сквозь туман отвлеченности. Я хваталась за этот хвостик, краешек. Я начинала предлагать свои слова для понтого мною, и иногда оказывалось — они для изображения годны.

Проверяя переходы от мысли к мысли, звучания слов и фраз, Митя уже не мог не писать вслух. Узнала я об этом случайно.

<…>

…Я снова отправилась к Мите — но не вошла.

Из коридора, из-за двери его комнаты, услышала я, что он читает вслух, настойчиво повторяя один и те же фразы. Прилаживает их. Не мне читает, а себе самому. Я отошла от двери. Не одна только рука, следуя мысли, вела его теперь по странице — вето и ухо. Проверка истинности, склада, лада.

По-иному расположил он теперь и весь материал. Из бесформенной лекции превращалась теперь книга в драматически развивающую прозу.

<…>

5

К Маршаку мы более с каждой главой не бегали. Мы решили положить ему на стол готовую книгу. Митя говорил, что видит ее насквозь, «понимаешь, всю на просвет, как в туннеле». Через два дня на третий Самуил Яковлевич звонил нам, подзывая то его, то меня, подталкивал, сердился, устранивал сцены ревности, расширявал, требуя, чтобы Митя прочитал ему по телефону свой отрывок. Но Митя стоял твердо: положить на стол оконченную рукопись. И тогда выслушает его приговор. И готов выслушать все замечания и исправить все, что найдет нужным редактор. (Ни о каком последнем или предпоследнем разе Митя уже не помнил.)

Счастливым этот день наступил. Десятки раз прочитали мы каждую главу вслух, много раз перепробовали каждую фразу на слух и на глаз, неизменно находя где-нибудь то рифму, столь неуместную в прозе, то неловкий переход.

Наконец, отдали рукопись машинистке и потом, еще раз прочитав, — Маршаку.

<…>

Вечером мы были у него. Маршак доволен! Он пренаивно говорит, кивая мне на Митю: «Вы, Лидочка, не представляете себе, какой у вас талантливый муж. Если бы я был женщиной, я непременно сам вышел бы за него замуж. Сколько книг он еще напишет для нас!».

Все это, конечно, не означало, что работа окончилась. Нет, Самуил Яковлевич то предлагал другие названия глав, то заставлял переделывать концовки или начала, то придумывал другие подлины под табличам. Потом новые заботы: Митя читает рукопись в школе, в пятых и шестых классах — он читает, а я вглядываюсь в лица: вот засучили как будто? неподвижны? значит, глава затянута? нет, это они размышляют! вот огорчились, вот задумались, а вот и рады: найден гелий на Земле! Митя кончил — от расспросов отбоя нет. Потом встреча с художником Николаем Федоровичем Лапшиным (которого пригласил иллюстрировать книгу Владимир Васильевич Лебедев), потом публикация в журнале «Окостер», потом — в альманахе Горького с предисловием Маршака (он попытался объяснить Митя встречную сложную научно-популярную и научно-художественную). Потом три корректуры отдельного издания. И вот у меня в комнате, на откинутой доске Митиного стола — моего! — бюро яркая желтизна переплета, а на титульном листе ярче линии Дү сбегитса надписи

«Дорогой Лидочке, без которой я никогда не мог бы написать эту книгу

Митя, 21 апр. 1936»

Чуковская Л. К. Избранное: в 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 53-69